

МАТЕРИАЛЫ СИМПОЗИУМА
«ПУТИ КУЛЬТУРЫ 60-80-х ГОДОВ»

15 декабря 1985 года в КЛУБЕ-81 был прочитан доклад А. Кобака и Б. Останина «МОЛНИЯ И РАДУГА: ПУТИ КУЛЬТУРЫ 60-80-х ГОДОВ», который вызвал живой интерес как среди членов клуба, так и у гостей. В обсуждении доклада, растянувшегося на три дня, приняли участие А. Драгомощенко, Д. Панченко, Л. Лурье, Б. Иванов, Д. Волчек, В. Антонов, М. Иоссель, Г. Беневич, В. Кушев, К. Бутырин, В. Кривулин, И. Адамацкий, С. Магид, Л. Павлов, А. Шуфрин, Р. Петропавловский, С. Хренов. Часть выступлений удалось записать на пленку, они будут опубликованы в ближайших номерах «ЧАСОВ».

А. Кобак, Б. Останин

МОЛНИЯ И РАДУГА: ПУТИ КУЛЬТУРЫ 60-80-х ГОДОВ

Каждый охотник желает знать!

I

Сложность обозначенной в заглавии темы очевидна, как несомненно и то, что она не под силу одному или немногим исследователям: мы предлагаем ее Секции критики КЛУБА-81 как провоцирующую и объединяющую проблему, сознательно отклоняя при этом рецептурной повелительности и призывая присутствующих к открытому познавательному процессу, то есть процессу, нацеленному на открытия. Уже в самой формуле заглавия намечен первый, довольно приблизительный и даже произвольный след решения, который в будущем вполне может стать проблемным полем для других критиков. Критик, в нашем понимании, – не указчик, не ответчик и не погромщик, но совопросник века сего, организатор гуманитарных предприятий, создатель благоприятствующей пониманию атмосферы, мироносец. Он перебрасывает связующие мосты экзегезы между замкнутыми и отдаленными островами артефактов, соединяет созданные культурой формы и языки, обживает новые земли.

В предлагаемой нами теме – ПУТИ КУЛЬТУРЫ 60-80-Х ГОДОВ – нет ничего неожиданного или оригинального: вспомним хотя бы работы Б. Иванова, Ю. Новикова, А. Басина, Е. Барбана, К. Мамонтов, Е. Пазухина, Р. Никоновой, труды конференций Культурного движения, деятельность Секции критики КЛУБА-81. Дело не столько в постановке новой проблемы, сколько в консолидации и координации общих усилий, направленных на ее решение.

Доклад публикуется в переработанном виде.

Но в чем, собственно, проблема? Дать целостную и адекватную картину российской культуры 60-80-х годов. Нет нужды разъяснять, что под 60-ми и 80-ми годами мы понимаем идеальные типы, не обязательно совпадающие по времени с календарными и однако же обладающие «типическими» чертами той и другой эпохи. Вся сложность в том, что черты эти не возникают из ничего и не исчезают в никуда, а пребывают от эпохи к эпохе в состоянии своеобразной зародышевой плазмы, то проявляя себя вовне, то переходя в скрытую фазу. Чтобы выбрать определяющие признаки среди множества проявленных, полупроявленных и латентных свойств, необходимо хотя бы вчерне решить вопрос о существенном в эпохе.

Что такое существенное? Для кого оно существенно? Как долго остается существенным? Здесь допустимы, по меньшей мере, три возможных понимания. Существенное – это то, (1) без чего эпоха перестает быть собой, (2) что отвечает на главные вопросы эпохи, (3) что является в данную эпоху массовым. В дальнейшем мы воспользуемся каждым из этих трех пониманий.

Сразу отметим, что серединных 70-х годов мы коснемся в докладе лишь бегло, и делаем это намеренно: для большей рельефности изложения. Характерные особенности 70-х годов выражены слабее, чем в контрастирующих 60-х и 80-х, к тому же механизмы трансформации культуры темны и не всегда уловимы. Почему та или иная установка (психологическая, поведенческая, культурная) исчерпывает себя и уступает место другой? На этот счет существует масса гипотез: фаустов человек любит изменения, ответственность за перемены лежит на христианстве, еврействе, кочевом образе жизни наших предков, эдиповом комплексе... К сожалению, такие гипотезы лишь заменяют одно непонятное другим, и потому мы предпочитаем вообще отказаться от устранения неизвестного, отважно склонив головы перед таинственной жизнедеятельностью духа истории.

Живой дух времени пронизывает эпоху насквозь и проявляет себя буквально во всем, в великом и малом, в области официальной и частной, публичной и персональной, профессиональной и интимной. Вместе с тем, его сквозное проникновение не является тотальным. Культура – не вещь, которую можно целиком переложить из одного кармана в другой, а скорее мишень, стрельба по которой перфорирует в ней островки попаданий и промахов. Островной характер культуры, ее принципиальная пористость гарантируют многообразие индивидуальных реакций на дух времени: в культуре существуют динамические и статические части, мобильные, консервативные и противодвижущиеся элементы. Мы воздержимся приписывать тем или иным направлениям и скоростям культурных изменений знак + или –: в отличие от спорта, у культуры есть более важные

особенности, чем скорость (хотя при определенных обстоятельствах она охотно уподобляет себя спорту и поощряет «отстающих» и «опережающих» к соревнованию).

Гораздо интереснее два других момента: системность культурных перемен, которая позволяет говорить о стиле эпохи, и существование культурных областей, реагирующих на перемены нестандартным образом. Нестандартные реакции – «материальный» залог таких хрупких завоеваний человека, как свобода и достоинство личности, в то время как системность и целеустремленность обеспечивают взаимопонимание людей и плодотворность совместных усилий.

Даже в простейшие, «монистические» времена степень сложности общества крайне высока: не все люди поддаются преобладающей духовности, оставаясь на своих, противостоящих ей позициях. В каком-то смысле можно говорить о принципе «духовной дополненности», о культурных нишах, в пределах которых удастся реализовать идеи, не соответствующие духу времени, не ввязываясь при этом в агрессивное противоборство с ним. А поскольку пористость культуры – особенность и «рецессивной», и «доминантной» ее компонент, то возникает возможность служения духу времени (или противостояния ему) поверх схематических барьеров «революционеры – конформисты – реакционеры». Каждая эпоха, открывая наибольшие возможности для людей определенного духовного склада, не отвергает и остальных, в том числе с противоположной ориентацией, а разве что усложняет им жизнь, что не всегда вредно.

Несколько слов о том, как мы напали на след 80-х годов. Это случилось года 3-4 назад, когда мы почувствовали в себе легкое недомогание, тонкое отчуждение, косвенное недовольство... Вроде бы все, как обычно: прежний круг друзей и чтения, привычные занятия и досуг, ничего катастрофического – и все не то! Пробовали списать возникшее чувство на возраст: говорят, годам к сорока такое бывает – недовольство собой, утрата чуткости к новому и т.п. Но настал день, когда мы поняли, что изменения происходят не только с нами, но и вне нас.

Такое-то число, такой-то месяц, такой-то года, кажется, 1981. Разговор по поводу недавно появившейся энциклопедии «Мифы народов мира». Первый: – Наконец-то у российского интеллигента появилась настольная энциклопедия! Второй: – Ты, кажется, не в курсе издательских дел. «Мифы» – не более, как Монблан, окруженный энциклопедическими хребтами и вершинами. В подтверждение чего последовал солидный перечень энциклопедий последних лет, включая Лермонтовскую, Книговедение и даже Курорты. Первый, прервав перечисление: – Поразительно! Да мы живем в ЭПОХУ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ! Заманчивое в своей простоте, определение оказалось неточным, но породило в нас исследовательский импульс, не исчерпавший себя и поныне.

(Элементарная проверка по библиотечному каталогу показала, что энциклопедии издавались всегда, хотя с конца 70-х годов несколько возросли в числе, разнообразии и качестве, а главное – приобрели популярность).

Вторым событием, пробудившим наш интерес к 80-м годам, оказалась случайно услышанная пленка с песнями Розенбаума. Обстоятельства требовали словесной реакции, и один из нас, выросший на фоне обличительного хрипа Высоцкого, недовольно суммировал: – Это песни НОВОГО НЭПА! Как и в первом случае, резюме оказалось неточным, но сопоставленное с народной мудростью «новые времена – новые песни» располагало к дальнейшим размышлениям.

Итак, энциклопедический бум и новые песни позволили на дважды поименовать 80-е годы: ЭПОХА ЭНЦИКЛОПЕДИЙ и НОВЫЙ НЭП. Вскоре добавились и другие имена, более привычные. Среди них, в паре с 60-ми: романтизм и реализм, классицизм и барокко, разбегание и затвердевание, известные по сочинениям Б. Иванова, С. Маслова, В. Паперного. Несколько наших: конница и пехота, время бросать камни и время собирать камни, и особо для 80-х годов: эпоха обоза, федоровская эпоха (почему, вскоре поясним).

Во всех именовании мы старались избегать явно отрицательных или критических тонов. И без того приходится слышать немало резких отзывов о современности: критики дружно отмечают повсеместное и всеобщее измельчание, посерение, цинизм, голый практицизм, обуржуазивание, стагнацию. Как нетрудно догадаться, критика под лозунгом «стало много хуже» принадлежит интеллигенции, чье духовное формирование пришлось на 60-е годы, и, следовательно, связана с пристрастной ностальгией по собственной юности.

Мы, со своей стороны, не считаем, что раньше вода была мокрее или что она стала мокрее сейчас, а попытаемся, по возможности, раскрыть положительные компоненты как 60-х, так и 80-х годов, показать, что в любые времена существует достаточный духовный и культурный потенциал, и суть не в превосходстве одной эпохи над другой, а в особом расположении в ней духовных доминант, в рисунке культурного ландшафта.

Поясним это на примере двух явно противоположных и, однако же, положительных проявлений духовности: подвига и подвижничества. В первом приближении можно сказать, что «распределение духовной энергии» в жизни человека колеблется между двумя полюсами: подвиг – резкий взлет духа; подвижничество – постоянное духовное горение. Нам представляется возможным не только соотнести эти фундаментальные категории с 60-ми и 80-ми годами, но и отчасти понять, как

формируются связанные с ними аксиологические представления.

Аристотель, рассуждая о молодежи, писал: «Молодые мыслят возвышенно и честолюбиво, ибо жизнь еще не смирила их и не вразумила осознать, что человеческие возможности не беспредельны». Еще короче формула известной песенки: «В двадцать – свободы ревнитель, в сорок – устоев хранитель», точно описывающая процесс трансформации юношеского идеализма и радикализма в прагматизм и консерватизм зрелого возраста или, в некотором смысле, подвига в подвижничество.

Но дело не только в возрасте: на дрейф, связанный с возрастными изменениями «биологического поколения», накладываются особенности другого, «общественного поколения», которое еще в 30-х годах исследовал Карл Маннгейм. Формирование системы взглядов общественного поколения происходит на основе крупного события, имеющего характер общественного катаклизма: война, революция, реформа, стихийное бедствие. Под катаклизмом, в общем виде, мы понимаем угрозу или реальность массовых (физических или духовных) смертей. В чем значение катаклизма для формирования поколения? По-видимому, в том, что он (1) событиен, то есть носит реальный, а не книжный характер, (2) внезапен, и потому выбивает из привычного распорядка жизни, (3) крупномасштабен, что позволяет участника выйти за пределы частной жизни, (4) неординарен, из-за чего становится для поколения своеобразным импринтингом. В дальнейшем будем называть такой катаклизм осевым событием. Духовный климат во времена осевого события в целом определяет и закрепляет духовную ориентацию общественного поколения.

Интересно, что нынешнее молодое поколение осталось без осевого события, что и обусловило некоторые особенности 20-25-летних. Например, формирование ценностной системы искусственным, книжным путем – в противоположность 60-м годам, где ценности возникали и проверялись в горниле экзистенциальных испытаний, требований – в пределе – проявлений героизма. Отсюда, вероятно, переизбыток в 60-е годы лидеров, которых оказалось даже больше, чем нуждающихся в них групп. Напротив, в 80-е годы объединение в группы обычно происходит по интересам, при отсутствующем или слабо выраженном лидере. Героя заменил мастер, одновременно возрос престиж труда и профессиональности, а надежда на мгновенный прыжок «из царства необходимости в царство свободы» уступила место пониманию необходимости упорного, кропотливого труда, результаты которого заметны далеко не сразу. Подвиг и подвижничество как духовные идеалы (неважно, осознанные или нет) вполне соответствуют этим общим представлениям о 60-х и 80-х годах.

Именно их мы и использовали в качестве отправного пункта для размышлений

и выработки указанных в заглавии эмблем – МОЛНИИ и РАДУГИ. Молнию мы соотносим с 60-ми годами, радугу – с 80-ми, не настаивая на полном и исчерпывающем соответствии, и все же усматривая в них важнейшие эмблемы рассматриваемых эпох.

А нужны ли эмблемы (образы, метафоры) вообще, не проще ли ограничиться словесными, понятийным рядом? Дело вкуса. В нашем случае их появление оправдано сложностью и неоднородностью предмета исследования: эмблемы – своеобразные нити, на которые в ходе предварительного анализа мы нанизываем разрозненные культурные явления, с тем чтобы расположить их впоследствии в мозаичном пространстве синтеза. «В истории, – писал К. Леонтьев, – все наличные силы действуют разом и в конкретной связи; но мы так конкретно не можем излагать наши взгляды: надо отвлечь чистую мысль от сложного явления, надо отделить сначала все то, что мешает ясности». Такого рода отвлечением и является для нас эмблемный анализ, который мы начнем с непосредственного созерцания графических образов молнии и радуги и соответствующих им физических, психологических и культурных прообразов.

МОЛНИЯ проста, одноцветна, мгновенна, энергична. Она предпочитает упрощение сложности и являет собой, с одной стороны, направленную волю, с другой – эмоциональный импульс. Обрушиваясь на окружающий мир испепеляющим огнем, выжигая все неподлинное, она снова и снова выбрасывает себя в простор странничества и одиночества. Молния – небесная бродяга, лишенная корней и устоев, она предпочитает естественные формы, пренебрегает этикетом, жаждет искренности. Любое ограничение воспринимается молнией как насилие и вызывает с ее стороны ответное насилие. Молния возносится высоко над миром, она – первооткрыватель, оживляющий мир огнем и озоном. Вольная, свободная, непривязанная, она презирает законы, предписания и описания, отвергает разум и память ради интуиции, вдохновения, внезапного озарения, «вертикального полета». Молния – свет во тьме, гений, пророк, герой с краткой светоносной жизнью. Вместе с тем, мерцающий блеск молнии – в отличие от ровного эпического света солнца – трагедичен и даже абсурден. Есть в нем что-то больное и безжизненное: в проблесках молнии мир застывает в пугающей неподвижности. Основные формы проявления молнии: уединение, скандал, бунт, творчество. Пространство для нее не существует, зато время утверждается двояко: векторной направленностью удара и его звуковым двойником – громом. Молния нацелена на будущее, она утопична и эсхатологична. Молния – символ войны, раздора, гнева.

РАДУГА сложна, многоцветна, упорядочена. Это гармонический организм, вбирающий в себя зримый состав всего мира, коллективное, соборное создание. Эманация солнца, радуга неотделима от дневного света, она – солнце, отраженное вторичным светом

в зеркале дождевых капель. Неподвижная арка радуги энергетически неагрессивна, эстетически соразмерна, логически законопослушна. Как Церковь – верующих, соединяется радуга все цвета, снимая в их соположении раздоры, укрепляя надежду, утверждая полноту. Радуга – небесная палитра, исполненный меры порядок, подчиняясь которому личность не теряет, а обретает себя в общении сотрудничества и, не умаляя других, способствует их расцвету. Радуга – дружеская беседа умиротворенных сердец, радостное соучастие в устройении надежного миропорядка. Радуга красочна, аналитична, эклектична. Она – Ноев ковчег в небе, залог любви и бессмертия, символ примирения с Богом.

Как видим, почти без всяких усилий с нашей стороны молния оказалось окрашенной в индивидуалистические, а радуга – в соборные тона. Трудно сказать, случайна ли эта окрашенность или принципиальна, но мы ничуть не удивимся, если молния и «в самом деле» знаменует собор мир гуманистический, светский, а радуга – церковный, религиозный.

Приведем несколько примеров из истории и культуры 60-х и 80-х годов, весьма произвольно выбранных нами в подтверждение действенности обеих эмблем. Понятно, что при углублении и уточнении анализа число примеров можно умножить.

II

60-е годы отлично известны большинству слушателей, выросших и даже выросших в них; вряд ли они будут опротестовывать их «молниевидный» характер? Так что мы начнем сразу с 80-х годов, противопоставляя им 60-е для контраста. Вот те особенности, которые мы считаем для 80-х существенными: энциклопедизм, историзм, интеллектуализм, цитатность, профессионализм, имперсональность, эклектика, деидеологизация, игровая ориентация, прикладные формы, теория «малых дел», эстетизм, гедонизм, примирение, – часть из них мы сейчас рассмотрим.

Общая трансформация культуры в 60-80-е годы происходит от простого к сложному (дробление монохромного луча), от воли и чувства 60-х через разум 70-х к памяти 80-х, но конечно, не в абсолютной чистоте. В маятниковой схеме культура должна была бы в 80-е годы впасть в крайний интеллектуализм и консерватизм, что по видимости противоречит эмблеме радуги, соединяющей в себе самые разные тенденции – от рассудочных до экстатических. Вероятно, в предрекаемом нами радужном спектре интеллектуальные и ретроспективные элементы будут просто несколько ярче, чем

остальные.

Поэзия – чуткий регистратор общественных перемен, с нее удобно начать. В 80-е годы набирает силу имперсональная, метафизическая, языковая поэзия. Лирический герой утратил всякую героичность, а заодно и лиричность, и остался за бортом поэзии. Перемены коснулись и самих поэтов, вплоть до их поведения. В интервью со скромным названием «На цыпочках перед талантом» («Книжное обозрение» № 52, 1985 г.) Белла Ахмадулина публично отрекается от «эстрадного поколения», а заодно преподносит А. Кушнеру комплимент («от его книг веет опрятностью»), который еще 10 лет назад прозвучал бы пощечиной. Темперамент и психология выпадают из поэзии, «тихие» стихи предпочитают «громким», опрятных Ходасевича и Кушнера – расхристанными Цветаевой и Е. Шварц.

С 70-х годов постепенно выкристаллизовалось мнение, что поэзия (и шире – литература) не спасет мира, как не спасет его и красота, но это еще не повод от литературы и красоты отвернуться. Возможно, мир вообще не нуждается в спасении или для этого нужны иные средства. В любом случае, и в спасенном, и в погибающем мире у литературы остается свое место и свои задачи. Можно жить не владея Истиной, но обладая ей: это нетривиальное открытие действует как освежающий душ.

Поэт-пророк, громогласный оратор 60-х годов вслушивался в голос собственной души (времени, природы) и сообщал услышанное – чем громче, тем лучше – аудитории (ночные чтения у памятника Маяковскому, салоны, стадионы). В 80-е годы место уха и рта заняли глаз и рука: поэт обзревает поле культуры и организует увиденное в композицию. Преобладают неоклассические тенденции, но рядом с ними возникают высокое барокко и новая феноменология; господствует интеллект, эрудиция, концептуальность, лингвистика. Вряд ли сейчас кого-то удивит стихотворение, составленное из одних предисловий и комментариев. О переменах свидетельствуют переход к верлибру, удлинившаяся длина строки и знаки препинания (меньше экспрессивных тире и восклицательных знаков, больше разъясняющих скобок и двоеточий).

Исчезла важнейшая тема поэзии 60-х годов – убийство поэта – а вместе с ней и сам поэт. Отныне он не герой, не пророк, не гражданский обличитель, даже не юрод, а профессионал слова, точно и достоверно знающий, что именно и каким образом он делает в поэзии, ее организатор и толкователь. Возрос интерес к интеллектуальной поэзии, не подвластной дионисийскому разгулу: Валери, Элиот, Йетс, Клодель, Паунд; в отечественной поэзии: Драгомощенко, Парщиков, Жданов, Седакова. Социальный и психологический бунт и насильственная смерть почти не увлекают. Показательна критика, которой Д. Волчек подверг в «Митинном журнале» творчество В. Кривулина и Е. Шварц за

чрезмерную социологичность и психологичность: «Мы давно живем в отеле Ритц, а они все спорят о перегоревшей лампочке в коммунальной квартире». Действительно, даже поэты (не говоря про остальных людей) давно хотят жить хорошо, то есть качественно, продуктивно, профессионально, пить в отеле Ритц хорошее вино и читать отличные книги, а по возможности писать их.

Бесстрашный поэт 60-х годов не боялся боли и посредством «голгофы» и «креста» побуждал себя к ней. В 80-е годы он перестал ее стимулировать, а вернее, распластал по времени, превратив в терпение. Не чужд он и наслаждения, которое также предпочитает растягивать во времени, чураясь экстатических сгустков. Терпение, спокойствие, неторопливость – ключевые слова эпохи. В целом 80-е годы отличает некоторая поэтическая инфляция: черный рынок, книгообмен и «макулатурные издания» свидетельствуют о том, что читательский интерес переместился от поэзии к прозе, от лирики к мемуарам.

СЛОЖНОСТЬ. Если 60-е года выдвигали новые идеи и формы, то 80-е озабочены их обработкой: осмыслением, упорядочением, связыванием. Таким образом, своей сложностью эпоха обязана умножению не только исходных элементов (социальных, культурных, информационных), но и связей между ними. Уже недостаточно произнести новое слово, необходимо отыскать ему место в обжитом пространстве культуры, прописать в соответствующем контексте.

В обстановке культурного изобилия и установки на упорядочение поощряется воздержание от новаторства и приглушение таких смежных с новаторством черт, как субъективизм, романтизм, творческая экзальтация, гениальность. Напомним о неприязни Н. Федорова к одаренности: философ выше ценил труд, к которому способен каждый, чем «несправедливый» дар гениальности. Сходная неприязнь подспудно пронизывает 60-е годы: они побаиваются гения, постоянно угрожающего медленно создаемому порядку экстатическим взрывом. Призыв 60-х годов «Жить опасно!» более не находил отклика: люди радуги предпочитают жить по эту сторону риска, накрепко замкнувшись в неприметной раковине каждодневного труда. В их жизни преобладают постепенность, осторожность, надежность, вдумчивость; поспешные решения и рискованные авантюры – не в духе эпохи: время ползет медленной гусеницей и не желает прыгать торопливым кузнечиком.

Американец А. Каждан признается в журнале «Диалог»: «В 1960-е годы мы учились в колледже, – и хотя тогда в стране происходили ужасные вещи, для нас это было очень интересное время. В значительной мере мы делали именно то, что нам хотелось. В

1970-е годы мы вошли в широкий мир и столкнулись со сложной системой ценностей, которые, к нашему удивлению, стали интересовать нас гораздо больше, чем мы могли это предвидеть». Самонадеянность 60-х годов, готовых судить и рядить обо всем, а тем более раздавать и навязывать советы – от государственных до медицинских – сменилась пониманием невероятной сложности современных крупных систем, о чем в свое время писал в книге «Новое индустриальное общество» К. Гэлбрейт.

Осознание того, что мир устроен скорее сложно, чем просто, привело к слову героико-романтической установки и отказу от проистекающих из нее двух крайностей – ультра-активизма и мечтательности. Из этого отказа в свою очередь возникла теория «малых дел», предпочитающая действие, пусть крошечное, – мечте, даже огромной. Если людям молнии мир без коллизий казался скучным и пресным, и они намеренно заостряли проблемы («Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал...»), то люди радуги – принципиальные любители овалов, всегда готовые сгладить проблему, чтобы ее вообще не было. Теория «малых дел» в общем контексте ретроспективных 80-х годов играет роль «зигждительницы порядка», который противопоставляется разгулу хаоса, страстей и непослушания 60-х годов.

ИМПЕРСОНАЛЬНОСТЬ. М. Чудакова с большой симпатией отзывается в книге «Беседы об архивах» о П. Анненкове, биографе Пушкина, причем ее симпатии выходят за рамки профессионального одобрения и очерчивают определенную этическую позицию. «Автор, не имея интереса вглядываться слишком пристально в собственные отношения с миром... с неутомимой проникновенностью и страстью стремится понять тот взгляд на жизнь, который с "неистовостью" исповедовали великие его друзья». Почти о том же пишет Д. Лихачев, призывая реставраторов к скромности, чтобы «освободить реставрационные работы от всякого проявления субъективности». «Самая большая беда, – предостерегает он, – когда в реставраторе гнездятся неподавляемые "комплексы" художника, архитектора, волевого творца, стремящегося вложить в памятник свое». Беда – вполне понятная; интереснее то, что она побуждает ученого скорее к нравственному, чем к профессиональному ригоризму. Это явление вряд ли случайно: в 80-е годы происходит постепенное сближение этических и профессиональных требований, срастание личности с работником, чем практически снимается дихотомия «внутреннее – внешнее», которая в 60-е годы служила причиной мощного психического напряжения и прекрасно описана писателями-экзистенциалистами.

Воля и воображение, питавшие в 60-х годах героический субъективизм, уступают в 70-х место разуму и консолидации, а в 80-х – исторической памяти.

Одновременно «идеальный человек» преобразуется из громокипящего гения-героя, с его неиссякаемым творческим порывом, отвагой, щедростью и остроумием – в скромного профессионала, более всего озабоченного своими «малыми делами» и недостатком времени для их выполнения, предпочитающего узкий круг общения – широкой и громкой «эстрадной» известности. Таков Любищев, герой хроники Д. Гранина, хронометраж которого стал для многих студентов и аспирантов образцом истинной жизненной стратегии.

Труженика 80-х годов мало интересуется личная судьба; он переносит интерес с нее на документы, свидетельствующие о судьбах чужих, на памятование об умерших. Его смирение и самоуничтожение, предание себя чужому прошлому близко к христианскому мироощущению, если, конечно, позволительно говорить о «близости» светского и религиозного.

Об имперсональности идет речь и в примечательной статье А. Каждана «Конспект или картотека?» («Наука и жизнь», № 6, 1970 г.), в которой известный византолог, рассуждая об обработке исторических источников, призывает читателя предпочесть традиционному конспекту – картотеку. В пользу картотеки он приводит немало доводов, интересных для нас потому, что тема «конспект-карточка» выходит за пределы узко-профессиональной среды и говорит об определенных аспектах культурного стиля 80-х годов.

Суть конспектирования – выписывание «наиболее существенных пассажей в том порядке, в каком они стоят в самом источнике... сокращенный пересказ источника, сохраняющий заложенную в нем последовательность». Конспектирующий как бы создает уменьшенный слепок, лицо документа, отражающее его цельность и главные особенности.

Картотека зиждется на иных принципах. «Карточка должна содержать одну мысль. Чем элементарнее выписки, чем ближе они к фиксации "одной мысли", тем картотека гибче, подвижней, удобнее для работы». Картотека не приковывает к источнику, а «создает предпосылки для свободного оперирования материалом». «Картотека не знает количественного предела: чем больше источников обработано, тем картотека становится ценней... У картотеки есть возможность известной унификации формы, стандартизации, что позволяет сделать картотеку плодом и орудием коллективной работы...» Завершает статью рекламный ролик об исследователе, работающем с картотекой: «Он переворачивает карточку за карточкой, и его перо бежит непринужденно, словно по зеленой волне, покуда физическая усталость не заставит его отложить продолжение работы на завтра...»

Следуя мысли автора, можно подвести итог: конспект индивидуален, картотека имперсональна (и потому предпочтительней). В свое время Н. Федоров написал

проникновенную апологию, посвященную библиографическим карточкам. К картотеке склоняется и современное искусство, от Набокова, писавшего свои романы на карточках, до концептуалиста Л. Рубинштейна, буквально выполняющего указание Каждана: «Карточка должна содержать одну мысль». Впрочем, в стилистику 80-х годов карточки входят не только своей имперсональностью, но и игровым характером, алеаторикой, интеллектуализмом, дискретностью.

Приведенные нами в качестве примеров профессиональные советы, обращенные к массовому читателю, находят с середины 70-х годов все больший отклик и становятся образцом для подражания – не только в профессиональной сфере, но и в повседневной жизни, обретая таким образом значение стилеобразующих культурных факторов.

ПАМЯТЬ. Несколько ранее мы называли 80-е годы федоровской эпохой. И действительно, имя Н. Федорова, одноименник которого появился в «Философском наследии» в 1980 году – один из ключей к пониманию эпохи радуги, по крайней мере таких ее слоев, как память и труд. Проект Федорова о всемстве, о реальной встрече всех людей, вырванных из челюстей времени, исполнен сводо-образующей, радужно-энциклопедической мощи. С середины 70-х годов все большее значение получают такие федоровские дисциплины, как музейное и архивное дело, библиография, реставрация и консервация, уход за кладбищами и пр. Вместе с тем, опасаясь утопий 80-е годы оставляют в проекте Федорова без внимания главное – воскрешение мертвых – и пренебрегают его космизмом, предпочитая заимствовать конкретные охранительные методы, не одушевленные великой идеей.

Заметную роль в распространении федоровской атмосферы сыграла упомянутая книга М. Чудаковой «Беседы об архивах» (1975 г., тираж 100 000 экз.) и ее же статьи в популярных журналах. Чудакова, консультируя широкого читателя по поводу правильного содержания архива, не ограничивается, подобно А. Каждану и Д. Лихачеву, профессиональными советами, а доводит их до уровня мировоззренческого манифеста. Вот несколько узловых выписок:

«Фигура подчеркнуто бесстрастного сборщика информации, человека с внимательными глазами, понятна, появление ее естественно, и, можно даже сказать, исторически закономерно... Дело, внутренне объединяющее всех людей, по давней традиции называющих себя интеллигентами, во многом видится нам именно в этом – сохранить непрерывность культурной традиции, не дать пресечься потоку текстов, закрепляющих наш сегодняшний и вчерашний опыт. Будущие историки и архивисты

покажут, как выполнялось это общее дело, откроют многочисленные факты подвижничества и самопожертвования, скрытые сегодня за оболочкой незаметной частной жизни, огражденные от общественного внимания многообразными обстоятельствами, включая и обычную человеческую скромность, желание остаться в тени. Этим людям должно быть все больше и больше, поток памяти должен шириться, а не слабнуть... Не станем скрывать – в том роде деятельности, границы которой мы пытаемся здесь наметить, нет прямой зависимости "действие–результат". Действия, о которых идет речь, – непривычны, рассчитаны на длительные сроки, результаты их отдалены, не вычислены заранее и могут не соответствовать затраченным усилиям. Но ведь как и во многих других случаях частной нашей жизни, задача в том, чтобы исполнить свой долг, как сам его понимаешь, не ожидая непременно приличного вознаграждения; мы воистину виновны только тогда, когда не исполняем нами же предначертанное».

Финал книги звучит с поистине религиозным пафосом: «Работа в архиве учит терпению; она освобождает человека от суетности, придает силы, сообщает душевное равновесие. Архивист знает – нет почти ничего тайного, что не стало бы явным; история не может быть переписана; судьба человеческая длиннее кратких сроков земного существования. Он ходит рядом с неопровержимыми свидетельствами бренности человеческой жизни, но неизменно чувствует себя на службе неумолкающей памяти человеческой».

Интересно сравнить эти вдохновенные строки с гротескным изображением библиотечного и архивного дела в популярном в 60-е годы романе Сартра «Тошнота»: философ преподносит их как нечто неподлинное, не имеющее к истинному человеческому делу никакого отношения.

К числу сторонников ретроспективной ориентации (с историко-национальным уклоном) относится уже упомянутый Д. Лихачев, идеи которого слишком известны, чтобы на них останавливаться. Названия его книги «Прошлое – будущему» и беседы с директором музея («Огонек», № 29, 1982 г.) «Память истории священна» красноречивы и говорят сами за себя.

По определению, архив – это склад старых бумаг; музей – старых вещей. Значение музея в последние годы неуклонно возрастает (журнал «Советский музей» можно купить в любом газетном киоске) и распространяется в область искусства и общих установок культуры. Музейная тема давно и накрепко вошла в стихи А. Кушнера; пассаизм Ю. Колкера неотделим от музейно-архивных штудий; с легкой руки И. Тюльпанова фото- и гипер-реалисты охотно разрабатывают тему старых вещей; В. Воинов составляет свои функцио-коллажи из подлинных музейных экспонатов,

запечатлевая таким образом двойной портрет: изображаемой эпохи и 60-х годов; там- и самиздат все больше ориентируется на переиздание классических текстов и энциклопедические труды (Собрание стихов В. Ходасевича под ред. Ю. Колкера, «Художники России за рубежом» В. Буля и Ф. Жакова); небывалой популярностью пользуется исторический роман (В. Пикуль, Б. Окуджава, О. Чиладзе); вполне в духе времени и творческая эволюция А. Солженицына: от художественной литературы через публицистику к историческому исследованию.

КОНСЕРВАТИЗМ. Память – не только архив и музей, но и постоянная активная работа по сохранению прошлого, реализуемая в воспоминании и восстановлении. Проблема восстановления (а чаще – консервации) захватывает все новых людей, и не только по долгу службы, но и бескорыстно, во имя идеи. Разработан проект строительства Сухаревой башни; поговаривают о возможном восстановлении Храма Христа Спасителя. Широкий резонанс получил недавно призыв журналисты М. Горбаневского («Литературная газета» за 1985 г.) вернуть улицам старинные названия. Этот резонанс вполне согласуется с общей тенденцией к консерватизму и тесно связанными с ним национализмом и православием.

Ограниченность времени не позволяет говорить о столь важной теме сколько-нибудь подробно; отметим лишь ее наличие и актуальность, выраженную, между прочим, и в возрастающем интересе философствующей интеллигенции к отечественным консервативным и почвенным авторам. Не за горами, кажется, время,

Когда студент не Горького и не Демьяна бедного –
Леонтьева и Страхова с базара понесет!

– а за ними – Данилевского, Григорьева, Каткова, Победоносцева, Меньшикова... Привлекает глубина понимания консервативными мыслителями человеческой природы и общества, прозорливость их исторических предсказаний. Так, априори можно было расценить рассуждения либерального историка Амальрика о грядущей войне между СССР и Китаем как безответственную риторику; и, напротив, до сих пор не перестает удивлять проницательность К. Леонтьева, который с великолепной точностью (и это не единственное его пророчество!) предсказал войну России в союзе с Францией против Германии и даже описал некоторые ее подробности.

Традиционное для России противостояние «западники-славянофилы» или «радикалы-консерваторы» склоняется в 80-е годы в пользу последних. Можно ожидать,

что могучий консерватизм православия укрепит социальную и психологическую устойчивость, ослабит значение личных прав в пользу личных обязанностей, усилит соборное начало с его принципом уместности каждого на своем месте – и тем самым поможет человеку смириться со своей судьбой, вдохнет в нее смысл.

Независимо от нашего отношения к консерватизму как политической доктрине, приходится признать, что в некоторых моментах (исторический прогноз, нравственные устои, упорный и последовательный труд, уровень литературного мастерства) он выгодно отличается от либерализма. В связи с чем можно перечислить будущие «плюсы» консервативных 80-х годов: глубина, пронизательность, зрелость суждений и поведения...

ЭКЛЕКТИКА. Не будет большой ошибкой определить эклектику как последовательную реализацию историзма в искусстве. В эклектические эпохи происходит заметное усиление чувства истории, ностальгии по прошлому, возникает ретро-стиль: таковы и 80-е годы с их многообразными эклектическими формами – от строгого фото-реализма и нео-футуризма до пассаистического классицизма и гуманитарного энциклопедизма.

Эклектика невозможна без эрудиции и комбинаторики и представляет собой, в сущности, работу по упорядочению готовых форм, замкнутых в обозримом и исчислимом пространстве. Современная архитектура с увлечением разрабатывает тему лабиринта, утверждая, что именно лабиринт призван обеспечить горожанину чувство безопасности и интимности, которых его начисто лишили многоэтажные коробки на пустыре. Калининский проспект в Москве (арх. Посохин, 1962-68 гг.) недавно в печати назван «градостроительной ошибкой». Лабиринт для человека радуги – не тюрьма, из которой нет выхода (название английского перевода популярной в 60-х годах пьесы Сартра), а место обитания и проживания, досуга и изучения его бесчисленных коридоров. Симптоматично появление в 1984 году двух переводных сборников рассказов Х.-Л. Борхеса, большинство из которых написано в 30-40-х годах. Интеллектуализм, энциклопедизм и «лабиринтность» Борхеса специальных разъяснений не требуют.

Об эклектике 80-х годов и ее разновидностях можно говорить долго; за подробностями отсылаем слушателей к замечательной повести С. Есина «Имитатор» («Новый мир», № 2, 1985), в которой предлагаем увидеть не сатиру, а вдумчивое и точное описание некоторых аспектов современной культуры.

«По складу своего дарования я копиист... Моя стихия – поправки, дополнения, уточняющие моменты, соавторство... Я ничего не ворую, я творчески заимствую... Предшественники всё сделали, всё изобрели, умело компоунуй и прячь концы в воду,

мастер! И всегда учись, никогда не ленись лишний раз заглянуть в монографию о великом живописце. И не стесняйся: курочка клюет только по зернышку, а бывает сыта...

Разыскиваю по энциклопедиям и старым книгам портреты, выискиваю данные по артистам, писателям, художникам... Это напоминает блочное строительство. Уже готовые, взятые из книг, со старинных гравюр и дагерротипов детали я сочетаю, подгоняю друг к другу, замазываю и шпаклюю швы. Строительные материалы не надо скрывать, бояться, что обнаружится первоисточник. Все наяву, и красота моего труда в том, чтобы ловко на глазах у зрителя перелицевать ему уже известное... и вывести зрителя на иную художественную данность». Буквально об этом пишут и критики журналов «Транспонанс» и «Литературное "А-Я"»: «Характерным авторским приемом является... сочетание различных стилистик, и даже жанров, в одном произведении». (С. Гундлах о В. Сорокине).

ДИСКРЕТНОСТЬ. Массовое распространение ЭВМ с сопутствующим изучением языков программирования и играми с компьютером несомненно способствовали усилению дискретного, алгоритмического сознания. Подтверждение тому – фантастическая популярность кубика Рубика, объемной разновидности изобретенной С. Ллойдом «игры в 15». Дискретные математизированные процедуры проникают в искусство (как в 20-е годы в литературу проник «телеграфный стиль»), где их охотно используют поп- и оп-артисты, пост-футуристы и концептуалисты. (Речь идет не об азартной или детской, а об интеллектуальной игре, связанной с комбинаторным перебором вариантов. На память немедленно приходит Набоков – страстный любитель словесных и математических игр).

Господство комбинаторики заметно и в повышении роли ритуала, этикета, тактичности. Вспомним работы Д. Лихачева, посвященные «литературному этикету» и теории жанров, а также его впечатляющую формулу: «Новое в средние века – это только новая комбинация шаблонов», из которой «средние века» вполне можно опустить: 80-е годы воспринимают новое именно как комбинацию шаблонов.

ПРИМИРЕНИЕ. Бунт 60-х годов против отцов, вывернувшись к 80-м наизнанку, превратился в почтение к отцам (точнее, к дедам), которое находит свое выражение в упомянутом историзме, склонности к цитате, в комплексе федоровских дисциплин. Сочинения одного из главных теоретиков патерофобии З. Фрейда постепенно превратились из орудий революции в учебники наслаждения, вроде Кама-сутры: сексуальность из средств политической борьбы вновь стала частным делом.

Отказ от бунта и связанным с ним кочевым образом жизни (бестселлер 60-х

годов – роман «В пути» Керуака) вернул к оседлости с сопутствующим ему культом дома, семьи, почвы. Люди радуги не желают разрушать (вспомним знаменитую репризу взрыва в финале «Забриски-пойнт»), предпочитают строить. Как результат примирения с отцами, история перестает быть бременем и вновь обретает утраченную когда-то способность служить опорой жизни, полем для работы, мостом, переброшенным над временем.

Оригинальность в поведении или творчестве явно берется на подозрение, что особенно заметно по кругу религиозного чтения. В 60-х годах читали бунтарей или полуретиков (Соловьев, Бердяев, Булгаков, Флоренский), в 80-е предпочитают писателей строго православного направления (отцы Церкви, Игнатий Брянчанинов, Флоровский). В 60-е годы уже сам факт оригинальности (проявляемой обычно в ненормативном поведении) служил своеобразным паролем контр-культуры и вызовом истеблишменту. Безумец, юродивый, аутсайдер были правы хотя бы потому, что менее всего напоминали внешне чиновника или обывателя. В поведении ценились естественность и спонтанность, которые удавались далеко не всем и требовали определенной выучки, а то и таланта.

Человек молнии (если видеть в нем романтико-экзистенциальную фигуру с гипертрофированной сосредоточенностью на своем «я» и стратегией скандала ради навязывания другим собственной воли) достаточно хорошо известен и изучен. Обратим внимание слушателей только на то, что, несмотря на смену «культурных парадигм», в 80-е годы сохранилось немало реликтовых романтиков, отбрасывающих на новую эпоху свои психологические и идеологические тени.

В 60-е годы бунтующие и жаждущие свободы противопоставляли себя любой системе (в первую очередь государственной, образовательной и семейной) и делали это с не всегда понятным ныне пафосом. Девушка-хиппи из рассказа Кортасара («Место под названием Киндберг», 1976 г.) следующим образом критикует университетское образование: «Такая мерзость, мне было так скучно, лучшему я научилась в кафе, читала перед киносеансами». А. Изюмский вспоминает о Кари Унковой («Обводный канал», №6, 1984 г.): «Она поняла себя поэтом за неделю до защиты диссертации, диссертацию защищать не стала и с тех пор никогда уже не служила государству». Сама Ункова (возможно, в оправдание публикации ее стихов в журнале «Смена») заявила: «Я не изменила для них ни одной запятой». Сходными примерами изобилуют жизни Ю. Вознесенской, Н. Горбаневской, И. Ратушинской и др. Не менее характерен для 60-х годов Р. Пименов, с его обостренным интересом к политике и вполне типичными для человека молнии героями: Ницше и Савинковым.

В общей панораме московских 60-х годов, которую дает в журнале «Квалитизм» И. Дудинский, подчеркивается «специфическая энергетика, жесткая, острая,

пронзительно-агрессивная... фанатическая искренность и парадоксальность, оголтелость, экстаичность, экзальтация, максимализм», что в сущности совпадает с приведенными нами характеристиками молнии. Особо Дудинский акцентирует дионисийство тех времен: алкоголь, бред, шизоидность, ориентацию на иррациональное вплоть до безумия... (В 80-е годы многие из числа наших знакомых стали пить меньше и бросили курить; не отстают от них и Англия, где за последние 10 лет число курящих уменьшилось с 35% до 28).

Волна трагических смертей поэтов и музыкантов, прокатившаяся в 1970-71 годах (Джоплин, Хендрикс, Моррисон, Аронзон), по-своему отметила конец контркультуры: самые чуткие души почувствовали слом времени, свою полную ненужность и неуместность в любой эпохе – и просто перестали быть. Вскоре понимание 70-х годов как переходного периода стало общераспространенным и даже попало в названия произведений («Переход» В. Овчинникова, «На переходе» Ю. Медведева и др.). Массовое левое сознание 60-70-х годов нашло себе довольно неожиданный выход в эмиграции, что, с одной стороны, нанесло ему нравственный урон, а с другой, сократило количественно.

Постепенное выдыхание либеральной эйфории 60-х годов коснулось и смеха, и прежде всего смеха агрессивного – иронии, сарказма, политического анекдота. Здесь естественно вспомнить идеолога «смеховой культуры» М. Бахтина. Его теория, покинув многолетнее латентное состояние, сыграла роль своеобразного маяка, орудия и, наконец, могильщика 60-х годов. Дело в том, что смех – универсальный разрушитель: в его внутреннем механизме нет ограничителей, позволяющих ему развенчивать монолитную официальную культуру, воздерживаясь при этом от развенчания не менее монолитных людей молнии. Кроме того, сторонники Бахтина почему-то упускают из вида тот простой факт, что в любой культуре «карнавал» жестко локализован в пространстве и времени, и потому попытки сделать из него вечный праздник или незыблемый духовный центр обречены на неудачу. После того, как сомнению были подвергнуты и чисто творческие возможности «смеховой культуры», на которых настаивал Бахтин, она была отеснена на периферию и превратилась в обычную послеслужебную рекреацию, уместную в свое время и на своем месте. Иными словами, произошла привычная для западного сознания профанация мифологемы, установление ее локальных границ и наделение узко-прагматическими функциями.

Верность своему времени, которую демонстрируют люди молнии, зачастую воспринимается ныне как бесполезный раритет. Последние «диссидентские» процессы в Ленинграде (Репин, Долинин и др.) – свидетельство измелчания левой оппозиции, даже в чисто человеческом отношении. Радикальные лозунги об общественном благе стали восприниматься как демагогия, что ускорило поворот от «великой мечты» к «малым

делам». Индивидуалист 60-х годов, с его непомерной жадой общественного блага, – своей неуживчивостью, требовательностью, скандальностью – причинял ближним разве что неприятности. Человек радуги, напротив, не думает об абстрактной пользе, но зато о ближних не забывает. Мечта человека молнии так и осталась мечтой, да и вряд ли он – страстный любитель воображения – хотел много; человек радуги не умеет мечтать: он – плохой поэт, но деловой человек, прагматик, реалист.

Нынешняя политическая апатия составляет разительный контраст к политизированным 60-м годам, когда буквально всё – от выбора профессии до эротики – превращалось в инструмент бунта. Постепенно отношение «неофициалов» к официальным явлениям стало более спокойным и миролюбивым, а то и безразличным, и ничуть не напоминает яростную конфронтацию 60-70-х годов. В определенном смысле можно говорить о конвергенции оппозиционных сторон. Наступило время компромисса, то есть такого сотрудничества, «минорных групп» с государством, которое позволяет им сохранять свое лицо и автономно (литературный Клуб-81, Рок-клуб, товарищество художников ТЭИИ, издание сборника «Круг»). Вместо бесплодной борьбы с истеблишментом люди радуги предпочитают либо работать в системе, «улучшая ее изнутри», либо создавать собственные автономные, но не агрессивные структуры, опирающиеся на принцип самодеятельности. Проще всего обвинить такие структуры в конформизме, что нередко и делается, но обвинение ошибочно, ибо конформизм подразумевает полную ангажированность, а никак не «автономный симбиоз», который мы наблюдаем. Более того, само слово конформизм возникло в контексте простейшей социально-политической ситуации, близкой к объявленной войне, в которой индивид вынужден или бороться, или капитулировать, и совершенно не годится для описания сложной обстановки 80-х годов, допускающей промежуточные варианты.

После возрождения в 60-х годах театральных идей Г. Крэга и В. Мейерхольда, мечтавших о полном подчинении актера режиссерской воле (сверхмарионетка, биомеханика), в 80-е годы наметился обратный ход в сторону ансамблевого единства. Вот характерные слова киноактера Д. Хоффмана о съемках фильма: «Каждый из нас заботится о своей роли, но мы отвечаем и за весь фильм... Режиссер и актер должны работать рука об руку...» Своеобразно его понимание роли руководителя: «Твердое руководство означает возможность создать нужную атмосферу». Американскому актеру вторит грузинский режиссер Р. Стуруа: «Возможности режиссера, да и вообще людей, ограничены. Нужно терпение, чтобы создать с актером что-то новое... А он, естественно, сопротивляется... И ты начинаешь медленно, не вступая в конфликт, стараясь не причинить боль, растить и оберегать создаваемое вами...»

СЛОВЕЧКИ. Определенную помощь в понимании культурных эпох дает анализ слов-паразитов, в которых дух времени конденсируется иногда с поразительной точностью и силой, причем независимо от сознательной установки говорящего. Это – экспрессивные слова и выражения, а также слова, чрезмерная частота употребления которых ситуативно не оправдана. В 60-е годы такими словами были гениально и ситуация (романтико-экзистенциальные клише), в 70-е не в меру часто употребляли слова структура и значит (явная отсылка к структурализму и семиотике), в 80-е, по нашим наблюдениям, возникла настоящая эпидемия как бы. Скорее всего, функция этого словечка состоит в том, чтобы, не избегая личного высказывания, смягчить его и сделать более приемлемым для собеседника. Тем самым говорящий признает за собеседником право на собственное мнение и отказывается навязывать ему свое. Заодно как бы сигнализирует о том, что беседующим известно о невероятной сложности мира и о непреодолимом зазоре, существующем между миром и словом. Иначе говоря, как бы – диалогическое слово, в котором угадываются отголоски энциклопедизма и речевой обходительности.

Не менее интересно изучать книжные и журнальные названия, в которых также – хотя и с большей осознанностью – отражается дух времени. В 80-е годы участилось появление названий с историческим и энциклопедическим подтекстом: память, памятник (сборник «Памятники Отечества», издается с 1981 г.), прошлое, архив, панорама, обозрение, свод и даже радуга (новое издательство, отделившееся в 1981 г. от издательства «Прогресс»).

МИФ О 60-Х ГОДАХ. 60-е годы стали уже достоянием истории и, конечно, не сумели избежать мистификаций и мифотворчества. Тот, кому довелось читать или слушать воспоминания эмигрантов третьей волны, нередко бывал поражен: какие фантастические очертания принимают недавние события, как быстро обрастает прошлое коростой лубка, как мало остается реальных фактов и трезвых оценок! Искусственный мифологический блеск «золотого века либерализма» грозит превратить текущее время в тусклое, невразумительное, а то и просто мерзкое прозябание. Такова изнанка мифологии, тем более грустная, что ее истоки отделяет от нас каких-то 20-30 лет.

Но было бы удивительно, если бы мемуаристы 60-х годов (обычно это – люди молнии, не склонные к объективному анализу) хранили беспристрастие. С ностальгической взволнованностью вздыхают они о прошлогоднем снеге и ретушируют его энергичными росчерками. Кажется, и мы в своем докладе идем на поводу у молниевидного описания 60-х годов. Не выдаем ли при этом чирканье спички в темноте за

сполохи молний? Взять хотя бы недавнее обращение в христианство нескольких десятков столичных интеллигентов, которое получало гордое название «христианское возрождение», или судорожные усилия нескольких молодых женщин по организации «всероссийского феминистского движения»!

Об этих фактах нелишне напомнить прилежному историку, для которого история не сводится к победе самой лучшей из партий, а являет собой сложное поле событий, требующее достоверного описания. Что, конечно, не мешает ему выступать на стороне любой партии, так сказать, в свободное от работы время, то есть не как историку-профессионалу, а как общественному деятелю, нравственной личности, просто человеку. Мы хотим выразить простую мысль: борьба, даже если ее не избежать, не нуждается в подлоге: можно и в схватке сохранить честность и достоинство, и не превращать ее в акт мести или побоище, пусть даже символическое.

Либеральное движение 60-х годов было достаточно массовым явлением, но не следует забывать, что – до определенной поры – оно поощрялось сверху (так что интеллигенция не всегда поспевала на путях свободы за правительством), и это несколько его обесценивает. Ведь вне личной инициативы и самостоятельности либерализм – не более, как пародия на либерализм. (Неужели пародия – удел российского интеллигента?). За последние десятилетия люди вообще отучились мыслить и действовать самостоятельно, и понадобится, вероятно, немало времени, чтобы вновь этому научиться. Не пытаясь объяснять или оправдывать «поправление» 80-х годов, мы надеемся, что они – как это ни странно звучит – станут для нас трудной школой самостоятельности. Вряд ли этой школой стоит пренебрегать.

III

Наш доклад на этом заканчивается, его тема далеко не исчерпана. Надеемся, что у слушателей не возникло впечатления, будто мы морочим их примитивной, по словам Борхеса, идеей, что все эпохи различны. Говоря о 60-х и 80-х годах, мы обошли молчанием их несомненные сходства, и прежде всего то, что 80-е годы есть продолжение 60-х. Кажется, Клаузевиц заметил, что война – продолжение дипломатии, только другими, жесткими средствами. В этом смысле 80-е годы – продолжение мирными средствами 60-х в преодолении узкой и жесткой нормированной эпохи 30-50-х годов.

Вот две характерные цитаты из статей 80-х годов:

«Посмотрим же теперь, что случилось с Россией после 56-го года...

Придержанная в течение 30 лет на вершине наклонной плоскости... Россия ринулась теперь с каким-то не по годам юношеским пылом вниз по этой плоскости... Я помню это время! Это действительно был какой-то рассвет, какая-то умственная весна... Это был порыв, ничем не удержимый! Казалось, что все силы России удесятились! За исключением немногих... все мы сочувствовали этому либеральному движению».

«Все ясное, все определенное и резкое в "России 70-х годов" перестало нравиться. Общественным мнением завладело нечто среднее, жгучее, бесцветное... Чем неуловимее – тем лучше! Оно и безопаснее, и понятнее для большинства, привыкшего бродить в тумане недосказанного».

Мы приготовили их в ответ на возможные упреки в адрес нашего эмблемного анализа, среди которых предвидим следующие: (2) недостоверность циклических концепций, на которых основан доклад, (2) сомнительный выбор анализируемых периодов, (3) упрощенное изображение прошедших 60-х годов, (4) преждевременный разговор о 80-х годах, которые еще не закончились.

Что касается исторических циклов, то не мы их придумали, и потому, оставив в стороне крайности «вечного повторения» и «циклического конформизма», сошлемся на нашего знакомого, заметившего, что «историю России очень легко изучать: все повторяется в ней каждые 100 лет». Из-за недостатка времени мы оставляем эту интереснейшую тему, а вместе с ней – радикально-реакционно-либерально-консервативную синусоиду, виляющую по четвертушкам века. (Цикличность исторических процессов хороша, на наш взгляд, уже там, что помогаем избежать возведения сиюминутных идеалов в ранг абсолютных истин и угадать в ретрограде не просто достойного человека, верного своим принципам, но и носителя послезавтрашних перемен). До некоторой степени в пользу цикличности говорят только что приведенные две цитаты из столетней давности статей 1880-х годов, принадлежащих К. Леонтьеву. Он же ответит за нас и на второй упрек:

«Замечали многие, что 20, 25, 30 лет приносят видимое, значительное изменение в духе и в положении общества, впоследствии созревания поколений; но в три года, в пять лет и даже в десять еще не видны обыкновенно ясные последствия перемены в обстоятельствах и умах. Точки как исходные, так и кульминационные, разумеется, надо принимать несколько искусственные, иначе ни в чем разобраться было бы нельзя. Пусть они будут искусственны; достаточно того, если они будут искусно избраны».

На следующие два упрека попробуем возразить сами.

Любая эпоха, как уже говорилось, сложна, и 60-е года, несмотря на подчеркиваемую эмблемой молнии простоту, не исключение. Даже последовательно сужая

предмет исследования, мы снова и снова будем обнаруживать явления, объекты, группы и сознания, объединить которые одним именем вряд ли позволит интеллектуальная честность: слишком абстрактным и неэффективным окажется такое объединение. Это верно и для имен-графем МОЛНИИ и РАДУГИ в их приложении к 60-м и 80-м годам. Ни одна эмблема не исчерпывает своей эпохи целиком – но разве это достаточная причина для воздержания от анализа?

Делая набросок портрета 80-х годов, мы отнюдь не собирались объяснять, как он, превращенный в архивный документ, будет выглядеть из далекого будущего. Мы указали лишь направление движения культуры, а не то, к чему она непременно придет. Так, историзм и пафос «малых дел» в 80-е годы возрастают, но до чего они дорастут и на чем остановятся – покажет время. В физике тоже не всегда удается получить абсолютное значение величины, зато можно зафиксировать ее приращение, или в геологии – прийти к выводу, что результатом вулканической деятельности будет гора, не называя ее точной высоты. Впрочем, и об этом К. Леонтьев говорит лучше, чем мы: «О мере надо сказать то же, что и о сроках. Определить ее заранее нет средств; помнить о ней необходимо во всем».

В заключение хотелось бы рассказать эпизод из нашей собственной жизни, к молнии и радуге явного отношения не имеющий, но внутренне с ними связанный.

Долгое время мы ломали головы над вопросом о героическом, об универсальном, о спасении. Но однажды, перестав их ломать, подумали легко и одновременно: о вере. А вместе с верой – о смирении, о молитве, о цельности души.

И тогда один задумчиво произнес: – Лягушка захотела спастись во всех стихиях сразу – и потому стала амфибией. Но по рассеянности она забыла про огонь.

– Да, – согласился другой, – к тому же голод подстерегает ее во всех стихиях. Мы захотели универсальности и стали амфибиями – лишь для того, чтобы сгореть в огне или умереть с голоду. Не лучше ли вместо универсальности – цельность? Пусть каждый бежит по своему камню, ведь все равно охотник знает, где сидит фазан.

– Да, – вмешался неожиданный третий, – каждый – лишь слово в Божественной книге, но даже тот, кому суждено быть пробелом между словами, способен понять, что именно здесь, на своем месте, он достигает цельности. Он не универсален, зато органичен. И если обдумать обе возможности спокойным сердцем и прочувствовать пылким умом, последняя из них предпочтительнее.

Вот тогда и вспыхнула для нас яркой молнией многоцветная радуга Божьего примирения.